

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ географический атлас, я вдруг увидел в нем журнальную верстку: «А. Твардовский. Стихи из записной книжки». Первое стихотворение — «Чернил давнишних блеклый цвет».

Потом — в 1969 году — была большая подборка стихотворений — последний прижизненный цикл. Именно в нем были стихи, которые и тогда пронзили душу, да и сейчас всякий раз, как припомню их, заставляют сжиматься сердце:

На дне моей жизни, на самом доньшке захочется мне погосидеть на солнышке, на теплом пенушке.

И чтобы листва красовалась палая в наклонных лучах недалекого вечера. И пусть оно так, что мороза немалая — твой век целиком, да об этом уж нечего.

Я думаю свою без помехи подслушаю, черту подведу стариковскою палочкой: нет, все-таки нет, ничего, что по случаю я здесь побывал и отметился галочкой.

Помню, как Твардовский впервые читал в редакции эти стихи. Он всегда очень волновался при таком своем первом чтении. Можно было заметить, как подрагивают его пальцы, когда он перебирает листки со стихами, переписанными набело на отдельных листках. Бледнел, закурился перед чтением, но тут же забывал о сигарете, и она вяло дымилась в руке. Ни одним словом не комментировал чтение. Только, закончив стихотворение, останавливался на несколько секунд, вроде передохнуть, и начинал следующее. И вот, когда дошел до этого... голос его уже на первой строчке — «На дне моей жизни, на самом доньшке» — дрогнул, и мы все оцепенели: и начало такое, и этот вдруг сорвавшийся голос... Но он пересилил себя и продолжил чтение. Помню, я даже побоялся, что он снова сорвется, и с этим испугом за него слушал до конца. А он читал, пожалуй, слишком медленно и слишком ровно, чуть ли не бесстрастно, и по одному этому можно было понять, что читать ему трудно. Кончив, он вздохнул и неожиданно улыбнулся, как, должно быть, улыбается человек, удачно миновавший опасное место.

Этого чтения не забыть и не спутать ни с каким другим. И весь цикл запомнился главным образом по этому стихотворению. И день, когда он читал его, — серенький декабрьский денек 68-го года — надвигались скорые сумерки, в окне кабинета Твардовского было видно, как по Малому Путинковскому наискосок летит сухой стремительный снег. Разве можно было подумать, что через три года в такой же стылый декабрьский день мы будем стоять на Новодевичьем возле его могилы? А потом начнут появляться его стихи, которые он так и не успел никому прочитать. Отличные стихи, «чистое золото», как он сам говорил о чужих произведениях, особенно понравившихся ему. Нечасто так говорил, но говорил. И будут среди этих его стихов строчки, как бы продолжающие тянуть нить, обозначившуюся в том памятном стихотворении, и будут строчки оптимистические:

Но боже мой, и все-таки неправда, что жизнь с годами сходит вся на клин...

А эта верстка была сравнительно давней. Бегло проглядев (все стихи — хорошо знакомые), я уже собирался положить ее куда-нибудь подальше. Была бы какая-нибудь другая — выбросил бы, а эту не мог: все-таки верстка стихов Твардовского, пусть давно опубликованных и всем известных. Так бы и положил, если бы взгляд случайно не остановился на стихотворении «Я знаю, никакой моей вины...». Взглянул на это стихотворение в верстке — и мне показалось, что вроде оно длиннее... С удивлением охватив его все целиком, я увидел, что оно и в самом деле не похоже на то, что появилось в журнале:

Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны, в том, что они — кто старше, кто моложе — остались там, и не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь, — Речь не о том, но все же, все же, все же...

А в верстке другой конец: Речь не о том, но все же. Что же — все же? Не знаю. Только знаю, в дни войны на жизнь и смерть у всех права равны.

Я ахнул от изумления. Во-первых, я просто уже и не помнил, что у этого, ставшего хрестоматийным, стихотворения был другой конец: оно прочно отложилось в памяти в том, окончательном виде. А во-вторых, нельзя было не заметить, что это окончание в верстке, конечно же, ухудшало стихотворение, и как хорошо, что он убрал его в самый последний момент. Ведь от верстки до печати расстояние совсем короткое.

И тут я должен сказать об одной особенности Твардовского. Он лишь в редких, крайних случаях правил опубликованные стихи. С большими вещами, с поэмами возился долго. Скажем, «Теркин», который печатался сначала в «Красноармейской правде», в журналах «Красноармеец» и «Знамя», отличается от той

бобать над ними, и это было главной причиной, по которой он так медлил выходить с ними на люди. Что-то еще обдумывал, добавлял или вычеркивал, правил. И когда чувствовал — пора! — читал тем, от кого ожидал услышать советы, замечания.

ИНТЕРЕСНА и поучительна реакция Твардовского на критику. Легких, покладистых авторов, готовых тотчас же пойти на любые переделки и перекройки, он презирал: — Да ему же безразлично, что он написал и как написал, ему важно только одно — напечататься. Ничемный автор! Но и не любил тех, кто цепляется за каждое словечко, отбрасывает любой разумный совет.

— Он ушел от нас, —

недоумевал он, — которые начинают улучшать себя. Чего проще, став опытным писателем, переписать свои молодые, зеленые вещи. Но зачем подтягивать молодость к зрелости, пусть она уж остается такой, какой была, со всей своей наивностью и ученической слабизной. Кстати, мне такая молодость всегда дороже молодости подчищенной, подправленной, поумневшей за счет поздних лет, дороже хотя бы в силу своей достоверности. Какой она была, такой ее и принимайте.

Но это ранние произведения, о них может быть особая речь. А как быть с вещами, написанными в зрелом возрасте, но к которым, однако, тянется рука сделать поправки и изменения? Известно, например, что Алексей Толстой нещадно

не о том, но все же, все же, все же...». Она оставляет нас наедине с высокой поэзией, не требующей немедленных ответов, а погружающей в долгие, очищающее душу раздумье.

Теперь я уже не мог не взять журнал, чтобы посмотреть, что еще сделал Твардовский в этом цикле перед печатом.

Беру № 12 «Нового мира» за 1966 год и сравниваю верстку с журнальным текстом. Какая большая правка в тоже очень известном стихотворении «Береза!»! Помните это стихотворение о березке, случайно и счастливо выросшей «на выезде с кремлевского двора» возле Спасской башни? «Сколько берез уже протумело в русской поэзии!» — пронизывал Ярослав Смеляков. — Полагаю, что

первый взгляд, незначительные изменения, но мы же хорошо знаем, что в истинной поэзии все значительно, мелочь способна изменить музыку стиха. Было: «Рябает—вдруг—изгиб ее ствола». Твардовский зачеркивает «изгиб» и вписывает «прогиб ее ствола». «Прогиб» теперь перекликается с «прогнулась от стены» и создает единую картину...

Это даже нельзя назвать ювелирной работой: та требует точности и точности, здесь нужны еще интуиция, чувство строки и слова, необходимости именно этого слова в данном контексте, какое-то особое поэтическое чутье, которое едва ли поддается логическому определению и формулированию.

Интерес к старой верстке у меня не слабеет. Что же еще? Продолжаю сличать печатный текст с тем, что было в верстке. Ах, какая характерная для Твардовского правка! В первой строке стихотворения «Чернил давнишних блеклый цвет» было, оказывается, не «блеклый», а «странный». Твардовский не любил неопределенности, общих, рядовых и типовых слов. Ему недостаточно было написать «дерево», «птица», «кустарник», надо было назвать эту птицу, дерево, кустарник. «Странный цвет» — это ведь тоже отвлеченное, смутное определение цвета. И Твардовский находит точное «блеклый». Это в его духе... А через страничку он вычеркивает как раз слово «блеклый». Тоже первая строка стихотворения «Погубленных березок блеклый лист». Кажется, что эпитет «блеклый» здесь и не плох, и не хорош — обычен. Но, пожалуй, все же плох: березки только что срублены, лист еще не успел пожелтеть. И Твардовский вписывает точное, поэтически верное определение — «вялый». Посмотрите, как оно плотно легло в строку:

Погубленных березок вялый лист, еще сырой, еще живой и клейкий, как сено из-под дождика, душит.

Явно не годилось здесь «блеклый», явно. А слово «вялый» здесь словно само уже источает запах березового листа.

Я хорошо знаю, что, публикуя в журнале подборку своих стихотворений, Твардовский часто мучился: не жидковато ли? Так и говорил — не жидковато ли? — хотя в циклах бывали замечательные стихи, которые шли потом у критиков нарасхват на цитаты. Но ему все мнилось: несолидно, надо бы добавить еще. Много думал он и над композицией циклов: для него было небезразлично, с чего начать и чем кончить, в какой последовательности пустить стихи, и соображения эти всякий раз бывали разными в зависимости от содержания цикла.

В этой подборке особых композиционных изменений в журнале по сравнению с версткой нет. Значит, эти соображения предшествовали верстке, там все и определялось. Но в журнале — три стихотворения, добавленных к верстке: все-таки показалось, что маловато, — «День прошел, и в неполном покое», «Ложат они, глухие и немые...» и «Стой, говорю: всему помеха...». В этом последнем присоединенном стихотворении находил строки, которые как бы подводят итог всем моим размышлениям, вызванным случайно найденной в атласе версткой:

Прочь этот прах, расчет порочный, Не надо платы никакой — Ни той, посмертной, ни построчной, — А только б сладить со строкой, А только б некий луч словесный Узреть, не зримый никому, Извлечь его из тьмы безвестной И удивиться самому, И вздрогнуть, веря и не веря Внезапной радости своей, Боясь находки, как потери, Что с каждым разом все больней.

Вот он и сам сказал обо всем... Прекрасно сказал. И ничего уже не надо добавлять к этому.

А. КОНДРАТОВИЧ

«А ТОЛЬКО В СЛАДИТЬ СО СТРОКОЙ...»

ЛИТЕРАТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Александр Твардовский и Константин Симонов (снимок из сборника «День поэзии 1972»). Фото Л. НИСНЕВИЧА



на каждое прекрасное белоствольное дерево на советской земле приходится не меньше двух стихотворений». А об этом стихотворении писал так: «Но береза, растущая «на выезде с кремлевского двора», долговечна, хотя все же жить ей придется меньше, чем этому стихотворению о ней». И дальше цитировал:

Должно быть, здесь пробилась самосевою, Прогнулась, отклоняясь от стены, Угадывая, где тут юг, где север, Высвобождая крону из тени...

Смеляков не мог знать, что как раз в этой строфе Твардовский тоже в последний момент сделал решительные изменения.

«Пробилась самосевою» — так может сказать только художник, выросший на крестьянской земле, — пишет дальше Смеляков. — «Прогнулась» — опять самое точное и поэтически звучащее слово! А «угадывая»? Сам Лев Толстой не нашел бы для такого случая лучшего определения. И это еще не все: взгляды в слово «высвобождая», в нем есть и остротность, и постепенность, и вздох облегчения — все сразу.

Но в верстке не было этих необычайно точных и поэтичных слов «прогнулась» и «высвобождая». Вот как там выглядела эта строфа:

Должно быть, здесь пробилась самосевою, Клонилась, прогибаясь, от стены, Угадывая, где тут юг, где север, Чтоб выпростаться крону из тени...

Слова «клонилась, прогибаясь» — однотипные, передающие лишь оттенки одного движения. Возможно, это и не понравилось Твардовскому. Замена гораздо лучше, вызывает четкое зрительное представление — «прогнулась», отклоняясь от стены». Не устроило его и «чтоб выпростаться крону». Выпрастывать — скорее вынуть из-под чего-нибудь, да и сам по себе глагол этот слишком просторечный, он снижал общую, несколько торжественную тональность стихотворения. Твардовский заменил почти всю строку, найди слово, так восхитившее Смелякова: «высвобождая крону из тени...»

Я вижу, какая идет тонкая правка, вносятся, на

«Книги про бойца», которую мы знаем теперь: Твардовский много работал над ней после первых публикаций. И главы «За далью — даль», появившиеся в газетах и журналах, тоже не во всем совпадают с каноническим текстом собрания сочинений. Следует, правда, и здесь заметить, что, когда текст уже окончательно «отстаивался», устанавливался, Твардовский как бы забывал о нем, он его больше не трогал.

Стихи же не трогал вообще. Надо сказать, что некоторые стихи он писал долго, есть совсем небольшие стихотворения, к которым он возвращался много раз. И эти стихотворения имеют, если можно так сказать, свою многолетнюю историю. Уже законченные стихи у него отлеживались месяцами, а бывало, годами. В особенности небольшие по объему: он никогда не спешил с их публикацией, не торопился их читать, кому-либо показывать, даже близким людям. В его посмертных циклах, появившихся в 1972 году, — три прекрасных стихотворения, написанных в 1969 году, когда и до болезни еще было сравнительно далеко. И это не какое-либо исключение, а правило: стихи эти существовали для Твардовского еще как бы в отдельности, не складывались в единый более или менее серьезный цикл, у него было свое особое словечко для таких стихов — «дрибница»... «Ну а дальше уже одна дрибница», — обычно говорил он, прочитав главные, опорные стихотворения своей новой подборки. Значит, дальше — остатки, мелочь. А среди этой «дрибницы» оказывались такие жемчужины, как «Я знаю, никакой моей вины...».

Надо сказать, что небольшие стихи не просто лежали в его столе, ожидая своей поры. Он продолжал раз

сказал как-то Твардовский об одном довольно известном писателе, — надудся, когда мы ему тут наговорили всякого и, между прочим, много толкового. Теперь он, наверное, считает нас вурдалаками и, я уверен, не примет наших замечаний. И это печально. Человек он, конечно, талантливый, но зазнавшийся и пишет все хуже и хуже, не пишет уже, а прудит...

Сам он выслушивал замечания внимательно, но настороженно, оценивающе. Во время чтения, как я уже сказал, он обычно сильно волновался. Насколько я догадываюсь, первое чтение, и не только первое, но и второе, и третье, если такое случалось, всегда было для него событием, отнимавшим немало нервной энергии. Поэтому он мог и вспылеть:

— Ну что вы говорите! Я же не это хотел сказать этими строчками!

Мог даже обидеться на непонимание, ни в коем случае не перенося, однако, обиду на человека, — вот это начисто исключалось. В том, что ему говорят искренно, он был убежден, а в таком случае какие могут быть обиды...

И самое главное — после такой четки он без промедления вновь садился за стихи. Не было случая — я по крайней мере не знаю такого случая, — когда бы он не внес исправлений и по замечаниям, и сверх замечаний. Сверх — даже больше... Часто правил и после набора, как, например, в той верстке, которую я сейчас обнаружил.

Однако, когда стихотворения появлялись в печатном виде и становились уже достоянием читателей, он к ним не притрагивался. Почему? Думаю, что тут было много причин. Некоторые из них он объяснил сам. — Не понимаю людей, —

правил произведения. И Бунин в сороковые годы вносил многочисленные стилистические исправления в рассказы, созданные в начале века. Да и только ли они?

— И напрасно делали, — заявлял Твардовский, когда ссылался на эти примеры. — Существенных улучшений такая поздняя правка не может внести, а я, читатель, многое теряю, зная, что писатель через тридцать лет прошелся по тексту. Для меня тот, направленный текст — в цене оригинала, а новый, подсовременный правкой, — уже копия того.

С этим можно, конечно, спорить. И спорили. Но так оно было принципиальное убеждение Твардовского. Сам он, если собственные стихотворения, рассказы, очерки, целые поэмы казались ему слабыми, поступал с ними просто: не перепечатывал, и все.

Когда я увидел старую верстку, то понял, что сделал поэт в самый последний момент. Может, и не сознавая того сам, он спас стихотворение. Этот не совсем ясный, толкующий на месте вопрос «Что же — все же?», на который сразу же следует не ответ, а признание, что и автор не знает ответа. Так и написано: «Не знаю». А дальше следует что-то явно заменяющее серьезный ответ, Твардовский сказал бы о нем — «зрац-ответ» (это хоровое во время войны словечко «зрац» он любил применять): «Только знаю, в дни войны на жизнь и смерть у всех права равны». Ответ рассудочный и чуть ли не банальный.

Но как проникновенно и глубоко звучало стихотворение, когда отлетели от него эти строки! И сколько затаенной печали в самом этом неответе, в этой сходящей в задумчивости на полупепоп строке: «Речь